

ОЛИВЕР САКС

НОГА КАК ТОЧКА
ОТТОРЪ



Оливер Сакс: невероятная психология

Оливер Сакс

Нога как точка опоры

«Издательство АСТ»

2014

УДК 159.9
ББК 88.5

Сакс О.

Нога как точка опоры / О. Сакс — «Издательство АСТ»,
2014 — (Оливер Сакс: невероятная психология)

ISBN 978-5-17-084750-1

«Нога как точка опоры» – самое своеобразное из «клинических» произведений Сакса. Его необычность заключается в том, что известный ученый в результате несчастного случая сам оказывается в роли пациента. Однако автобиографическое произведение Оливера Сакса – не рутинная история заболевания и выздоровления, а живое, увлекательное и умное повествование о человеческих отношениях, физических, психологических и экзистенциальных аспектах болезни и борьбы с ней, и прежде всего – о физиологической составляющей человеческой личности.

УДК 159.9
ББК 88.5

ISBN 978-5-17-084750-1

© Сакс О., 2014
© Издательство АСТ, 2014

Содержание

Предисловие	6
I. Гора	8
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Оливер Сакс

Нога как точка опоры

Oliver Sacks. A LEG TO STAND ON

Перевод с английского А.В. Александровой

Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK) Ltd.

© Oliver Sacks, 1999

© Перевод. А.В. Александрова, 2012

© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

* * *

Медицина всегда заявляет, что во всех предписаниях исходит из опыта. Следовательно, Платон был прав, когда говорил, что настоящему врачу, стремящемуся усовершенствоваться в своем искусстве, следовало бы испытать все болезни, которые он намеревается лечить, все случаи и обстоятельства, на основании которых он должен принимать решения... Такому врачу я бы доверился, ибо все прочие, руководя нами, уподобляются тому человеку, который рисует моря, корабли, гавани, сидя за своим столом и в полной безопасности водя перед собой взад и вперед игрушечный кораблик. А когда им приходится взяться за настоящее дело, они ничего не могут и не знают.

*Мишель Монтень*¹

¹ Монтень М. Опыты. Кн. 3, гл. 13. Пер. Н. Рыковой.

Предисловие

Том Ганн выразительно писал о «поводах для открытий» в поэзии. В науке таких поводов не меньше, чем в искусстве: иногда это приснившаяся метафора, подобно змее Кекуле, иногда аналогия, подобно яблоку Ньютона, иногда событие, неожиданно обретающее невообразимую важность, подобно восклицанию Архимеда «Эврика!». Каждая такая случайность может стать открытием.

Поводы к открытиям в медицине порождаются практикой, непосредственным общением с пациентами, их болезнью или травмой. Поводом для создания этой книги стало мое собственное увечье, полученное вследствие несчастного случая в горах Норвегии. Хотя медицина – моя профессия, я никогда раньше серьезно не болел, а теперь был и врачом, и пациентом одновременно. Я представлял себе свое увечье (значительное, но без осложнений повреждение мышц и нервов) как нечто простое и рутинное, и меня поразило множество последствий, которое оно вызвало: паралич и отчуждение ноги, превратившее ее в «объект», казавшийся со мной не связанным; бездну странных и даже пугающих эффектов. Я и представления не имел, как понимать эти последствия, и начал бояться, что могу никогда не поправиться. Полное выздоровление представлялось мне чудом. С тех пор я стал понимать, как может быть ужасна и прекрасна жизнь, и зависит это только от нашего здоровья.

Глубоко обеспокоенный и озадаченный этими необычными последствиями – общим резонансом, так сказать, местного повреждения – и отсутствием адекватного утешения со стороны собственного доктора, я обратился к выдающемуся нейропсихологу А.Р. Лурии в Москву. «Такие синдромы, возможно, встречаются часто, но очень редко описываются», – ответил он мне. Когда я поправился и вернулся к медицинской практике, я убедился, что это так и есть. В последующие годы я обследовал несколько сотен пациентов, страдавших нарушениями представлений о своем теле и телесном «я», вызванными неврологическими причинами и по сути сходных с моим собственным случаем. Свою работу и ее приложения я кратко описываю в последней главе этой книги и рассчитываю позднее опубликовать подробную монографию на эту тему.

Таким образом, здесь переплетаются многие темы: специфические нейропсихологические и экзистенциальные феномены, связанные с моим увечьем и выздоровлением, пребывание в роли пациента и последующее возвращение в мир здоровых людей, сложности взаимоотношений врача и больного, приложение моих выводов к большой группе пациентов, размышления о таком приложении и его значении. Это привело в конце концов к критике современной неврологической медицины и к представлению о том, чем могла бы стать такая медицина в будущем.

Все это, впрочем, случилось только через несколько лет. Поводом послужило долгое путешествие поездом из Бостона в Нью-Йорк, во время которого я прочел замечательную книгу Генри Хэда «Исследования по неврологии» (1920). Он описывал случай, очень схожий с моим собственным, от изучения эффекта повреждения нерва до общих концепций образа тела и телесной гармонии. Последняя глава моей книги была написана в горах Коста-Рики. Это было завершением одиссеи, начатой на той судьбоносной горе в Норвегии.

За исключением последней главы, материал в книге излагается не систематически. Она может рассматриваться как своего рода неврологический роман или повесть, основанная на личном опыте и неврологических фактах, подобных тем, которые А.Р. Лурия излагает в «Потерянном и возвращенном мире» и других своих «нейрографиях».

В моей работе меня очень воодушевлял вышеупомянутый А.Р. Лурия, с которым я имел честь переписываться с 1973 года до его смерти в 1977 году. «Вы открываете совершенно новый мир, – писал он мне. – Пожалуйста, опубликуйте свои наблюдения. Это поможет изме-

нить «ветеринарный» подход к периферическим нарушениям и откроет дорогу к более глубокой и более гуманной медицине». Покойному А.Р. Лурии, пионеру новой, более гуманной медицины, я с благодарной памятью посвящаю эту книгу.

Лондон – Нью-Йорк

Оливер Сакс

I. Гора

Этот мир в бездонном своем молчании знать не знал о радушии. Гостя он принимал как незваного пришельца, вернее и вовсе не принимал, не привечивал, только терпел его вторжение, его присутствие, терпел неподобающим образом, ничего доброго не сулящим, и от этой терпимости веяло чем-то стихийным, грозным, не враждебным даже, а безразличным и смертоносным.

Томас Манн²

Утро субботы двадцать четвертого было пасмурным и хмурым, однако позже погода обещала улучшиться. Я мог бы начать свое восхождение через сады и леса предгорий рано и к полудню, как мне представлялось, достичь вершины горы. К тому времени, наверное, прояснится, и с вершины откроется потрясающий вид – на более низкие горы, уходящие к фьорду Хардангер, и на весь сам огромный фьорд. Восхождение предполагает необходимость карабкаться на скалы, натягивать веревки... однако мне предстояло восхождение совсем другого рода – просто подъем по крутой горной тропе. Я не предвидел особых проблем или трудностей. Я был силен как бык, в отличной физической форме – и предвкушал прогулку с уверенностью в своих силах и надеждой получить массу удовольствия.

Я скоро вошел в ритм ходьбы – двигался той раскачивающейся походкой, благодаря которой расстояние покрывается быстро. Я вышел до рассвета и к половине восьмого поднялся, пожалуй, на две тысячи футов. Предрассветный туман уже начал рассеиваться. Теперь я шел через темный сосновый лес, и продвижение мое замедлилось – отчасти из-за узловатых корней, отчасти из-за очарования того мира крохотных растений, которым лес давал укрытие; я часто останавливался, чтобы рассмотреть незнакомый папоротник, мох или лишайник. Впрочем, к началу десятого я все-таки миновал лес и вышел к огромному конусу, который, собственно, и был горой и возвышался над фьордом на шесть тысяч футов. К моему удивлению, передо мной оказалась ограда и калитка в ней, на которой висело еще более озадачивающее предостережение «Берегись быка!» по-норвежски, сопровождавшееся для тех, кто мог оказаться не в состоянии это прочесть, довольно забавным изображением человечка, подкидываемого бычьими рогами.

Я остановился, рассмотрел картинку и почесал в затылке. Бык? На такой высоте? Что быку здесь делать? На пастбищах и во дворах ферм на нижних склонах я не видел даже овец. Может быть, это какая-то шутка деревенских жителей или альпиниста с извращенным чувством юмора? А может быть, бык все-таки есть, проводит лето на просторном горном пастбище, пробавляясь скудной травкой и колючими ветками кустарника? Ладно, хватит гадать! Вперед, к вершине! Дальше почва сделалась совсем другой. Она стала очень каменистой, усеянной тут и там валунами, местами влажной от прошедшего ночью дождя, но с изобилием травы и стелющегося кустарника – тут животному, имеющему в своем распоряжении всю гору, пищи хватило бы. Тропа, хоть и хорошо заметная, но явно мало используемая, круто шла вверх. Да, это не самая посещаемая часть света... Посетителей, кроме меня, видно не было, а фермеры, как мне представлялось, были слишком заняты посевами, рыбной ловлей и другими делами, чтобы прогуливаться по окрестным горам. Что ж, тем лучше. Вся гора в моем распоряжении! Вперед и выше! Хотя я не мог видеть вершины, я уже поднялся, по моим оценкам, на 3000 футов, и если тропа останется просто крутой, но не коварной, я, как и планировал, к полудню буду на вершине. Так что я шел дальше, достаточно быстро, несмотря на крутизну,

² Манн Т. Волшебная гора. Пер. В. Станевич.

благословляя свою энергию, выносливость и особенно сильные ноги, натренированные годами постоянных упражнений. Сильные мышцы, мощные легкие, надежный скелет – я заставлял себя тренироваться, совершал дальние заплывы и долгие восхождения, так я выражал свою признательность природе, щедро наградившей меня здоровьем. К одиннадцати часам, когда это позволяли перемещающиеся полосы тумана, я начал бросать взгляды на вершину, не такую уже теперь далекую, – да, к полудню я до нее доберусь. Легкий туман еще полностью не рассеялся, он иногда не позволял отчетливо разглядеть утесы. Некоторые из них, полускрытые туманом, казались огромными притаившимися животными, и их очертания становились четкими, только когда я подходил близко. Бывали моменты, когда я останавливался в сомнении, разглядывая туманные тени перед собой...

В тот момент, когда все случилось, я как раз вынырнул из тумана, обходя утес размером с дом; тропа шла вокруг него, так что я не мог видеть, что находится впереди, и именно это обстоятельство позволило произойти *встрече*. Я практически наткнулся на огромное животное, разлегшееся на тропе и полностью ее перекрывшее; закругленный бок утеса скрывал его от меня. У животного была мощная рогатая голова, необъятное белое тело и чудовищного размера кроткая светлая морда. Оно совершенно спокойно отнеслось к моему появлению, только повернуло в мою сторону голову. Однако в тот же момент произошла перемена: увидев меня, бык преобразился из великолепного животного в устрашающее чудовище. Огромная белая голова, казалось, все росла и росла, а в выпуклых глазах засверкала злоба. Морда становилась такой огромной, что я подумал: не заслонит ли она всю вселенную?.. Бык сделался страшен – невероятно страшен, страшен своей силой, злобой и сообразительностью. Теперь он был олицетворением зла. Сначала он выглядел чудовищем, теперь же – самим дьяволом.

Я сохранил самообладание – или что-то на него похожее – и, словно прогулка была закончена, развернулся на 180 градусов и молча и осторожно начал спускаться. Но тут – кошмар! – нервы мои неожиданно сдали, меня охватил ужас, и я кинулся бежать, словно спасаясь от смерти. Я бежал как сумасшедший, ничего не видя, по крутой грязной скользкой тропе, местами скрытой клочьями тумана. Эта слепая безумная паника – на свете нет ничего хуже и ничего опаснее! Я не могу точно описать, что случилось. В своем бегстве по предательской тропе я, должно быть, оступился – камень под моей ногой подался, нога не нашла опоры... Получилось так, словно этот момент выпал из моей памяти.

Существовали «до» и «после», но никакого «между». В одну секунду я мчался как сумасшедший, слыша только пыхтение и тяжелые шаги, гадая, исходит ли этот шум от быка или от меня самого, а в следующую – уже лежал у подножия невысокого острого утеса, с подогнутой странным образом левой ногой, испытывая такую боль в колене, какой не испытывал никогда. Быть полным сил и бодрости – и через мгновение стать фактически беспомощным, быть олицетворением здоровья – и вдруг стать калекой, лишиться возможности быть самостоятельным – это такая перемена, такая неожиданность, которую трудно понять; разум судорожно начинает искать объяснение случившемуся.

С этим феноменом я сталкивался – у других, у моих пациентов, неожиданно заболевших или получивших травму... и вот теперь я испытывал это сам. Моя первая мысль была такой: произошел несчастный случай, и кто-то, кого я знаю, серьезно пострадал. Позже до меня дошло, что пострадавший – я сам, но одновременно возникло чувство, что на самом деле ничего серьезного не случилось. Чтобы доказать это, я поднялся на ноги – точнее, попытался, но тут же рухнул, потому что левая нога совершенно мне не подчинялась и подогнулась, как вареная макаронина. Она совсем не могла служить опорой и просто согнулась – согнулась коленом назад, заставив меня завопить от боли. Однако так безумно испугала меня не боль, а безжизненная шаткость колена – и моя полная неспособность управлять ногой. А затем ужас, на мгновение ставший всеобъемлющим, уступил место «профессиональному подходу».

«Хорошо, доктор, – сказал я себе, – не будете ли вы так любезны и не обследуете ли ногу?»

Очень профессионально, совершенно безлично и никак не нежно, как будто я был хирургом, обследующим пациента, я принялся за дело – приподнял ногу, ощупал ее, подвигал туда-сюда. Делая это, я вслух говорил об обнаруженном, словно обращаясь в аудитории к студентам: «Колено не может двигаться, джентльмены, бедро тоже... Как видите, четырехглавая мышца полностью оторвана от коленной чашечки. Однако, хотя она и оторвана, она не сократилась – она полностью вялая, что может говорить также о повреждении нерва. Коленная чашечка лишилась своего основного соединения, она подвижна – вот так! – как мячик. Она легко смещается – ее ничто не удерживает. Что же касается самого колена, – говоря это, я иллюстрировал каждое свое заключение, – обнаруживается его ненормальная подвижность, совершенно патологический размах перемещения. Оно может быть согнуто без всякого сопротивления, – тут я рукой пригнул пятку к ягодице, – а также чрезмерно растянуто с явной дислокацией. – Эти движения заставили меня вскрикнуть. – Да, джентльмены, – заключил я, подводя итог, – поразительный случай! Полный разрыв связок четырехглавой мышцы. Мышцы парализованы и вялы – можно предположить повреждение нервов. Коленный сустав неустойчив – перемещается в обратном направлении. Возможно, порваны крестообразные связки. Не могу ничего наверняка сказать о повреждениях костей, однако вполне можно предположить одну или несколько трещин. Заметный отек, вызванный, возможно, излитием суставной жидкости, но нельзя исключить и разрыва кровеносных сосудов».

Я с довольной улыбкой повернулся к своей невидимой аудитории, словно ожидая аплодисментов. И тут неожиданно «профессиональный подход» и личина улетучились, и я понял, что «поразительный случай» – это я сам, сильно травмированный, возможно, обреченный на смерть. Нога была полностью бесполезна. Я был совершенно один, недалеко от вершины горы, в малонаселенной местности. О моем местопребывании никто не знал, и это пугало меня больше всего остального. Я мог умереть там, где лежал, и никто об этом не узнал бы.

Никогда еще я не чувствовал себя таким одиноким, потерянным, брошенным, таким лишенным надежды на помощь. До этого момента мне не приходило в голову, что я пугающе и отчаянно одинок. Я не испытывал одиночества, поднимаясь на гору (как не испытывал его никогда, получая удовольствие). Я не чувствовал одиночества, обследуя свои повреждения (только теперь я понял, какую поддержку оказывала мне воображаемая аудитория). Теперь совершенно неожиданно на меня обрушилось устрашающее чувство изоляции. Я вспомнил, как за несколько дней до того кто-то рассказывал мне о «дураке-англичанине», который два года назад в одиночку поднимался на эту самую гору; его через неделю нашли сломавшим обе ноги и умершим от переохлаждения. Я находился на таких широте и долготе, где ночью даже в августе температура опускается значительно ниже нуля. Необходимо, чтобы меня нашли до наступления ночи, иначе я не выживу. Нужно спуститься ниже, если удастся, потому что тогда по крайней мере появится шанс, что меня увидят. Я даже начал надеяться, обдумав свое положение, что мог бы сам спуститься к подножию горы, опираясь на палку; только много позже я понял, каким утешением было это заблуждение. И все же, если мне удастся взять себя в руки и сделать то, что в моих силах, у меня мог появиться некоторый шанс выкарабкаться.

Я неожиданно совершенно успокоился и сосредоточился. Первым делом нужно было заняться ногой. Я обнаружил, что хотя любое перемещение колена вызывало мучительную боль и буквально физиологический шок, я чувствовал себя достаточно хорошо, когда нога неподвижно лежала на земле. Однако если я начну двигаться, не имея какой-либо «внутренней структуры», которая поддерживала бы ногу, я буду лишен защиты от беспомощных пассивных движений колена, связанных с любой неровностью земли. Таким образом, ясно, что требовалась внешняя структура – иначе говоря, шина.

И тут мне на помощь пришло одно обстоятельство: я привык всегда носить с собой зонт. Мне кажется совершенно естественным (а может быть, это происходило просто автоматически), отправляясь на прогулку (даже если это было восхождение на гору в милую высоту), захватить с собой мой прочный надежный зонт. Кроме того, при подъеме он бывает полезен как трость. И в тот момент наивысшей необходимости он стал шиной для ноги, приспособлением, без которого я едва ли смог бы двигаться. Я отломал ручку зонта и разорвал на части свой анорак. Длина зонта оказалась как раз такой, как нужно. Его прочное древко почти соответствовало длине ноги, и я привязал его широкими полосами, оторванными от анорака, достаточно туго, чтобы не позволить колену беспомощно двигаться, но не настолько туго, чтобы остановить кровообращение. С момента моего несчастья прошло минут двадцать – или меньше? Неужели все это могло случиться за такое короткое время? Я посмотрел на часы, гадая, не остановились ли они, но секундная стрелка двигалась совершенно равномерно. Время, измеряемое ею, абстрактное, безличное, хронологическое, не имело никакого отношения к моему времени – времени, состоящему исключительно из мыслей о спасении. Глядя на циферблат, я в воображении сравнивал движение стрелок, равномерно идущих по кругу, и безжалостную регулярность перемещения солнца по небу с моим собственным неуверенным спуском с горы. Я и думать не мог о том, чтобы поторопиться, – это привело бы к изнеможению. Не мог я позволить себе и проволочек – это было бы еще хуже. Мне нужно было найти правильный темп и неуклонно его выдерживать.

Я обнаружил, что теперь с благодарностью думаю об имеющихся у меня предметах, – до того я мог думать только о своем увечье. По милосердию судьбы я не разорвал артерии или какого-то крупного сосуда, что вызвало бы внутреннее кровотечение: колено только немного опухло, и нога не похолодела и не посинела. Четырехглавая мышца была парализована, это так, но дальнейшего неврологического обследования я не проводил. При падении я не сломал позвоночник и не разбил череп. И – слава Богу! – у меня были три здоровые конечности и достаточно энергии и сил, чтобы бороться. Клянусь, бороться я буду! Это будет борьба за жизнь, самая главная борьба в жизни.

Спешить я не мог – я мог только надеяться. Однако мои надежды не оправдаются, если меня не найдут до наступления ночи. Я снова посмотрел на часы – в этих широтах вечер наступает поздно, а примерно с шести часов постепенно становится темнее и холоднее. К половине восьмого будет уже совсем холодно и почти ничего не видно. Меня должны были найти самое позднее в восемь. В половине девятого сделается совершенно темно – нельзя будет ничего разглядеть и станет невозможно передвигаться. И хотя благодаря активным упражнениям я смог бы – возможно – пережить ночь, шанс на это был очень, очень невелик. Я на мгновение вспомнил героев Толстого, – но со мной не было другого человека, с которым мы могли бы друг друга согреть. Ах, если бы у меня был спутник! Мне неожиданно пришли на ум слова из Библии, которую я не перечитывал с детства и обычно не вспоминал: «Двоим лучше, нежели одному... ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его»³. Меня посетило ясное воспоминание о маленьком зверьке, которого я видел на дороге, – с перебитой спиной, пытающемся приподняться на парализованных задних лапках. Сейчас я чувствовал себя в точности как это существо. Мое ощущение принадлежности к человечеству как нечто отдельное, возвышающее меня над животным царством и смертностью, также на мгновение исчезло, и опять пришли на ум слова Екклесиаста: «Участь сынов человеческих, и участь животных – участь одна; как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом»⁴.

³ Библия, Еккл. 4:9—10.

⁴ Библия, Еккл. 3:19.

Прикрепляя шину к ноге, я был занят и опять «забыл» о том, что смерть таится поблизости. Теперь же Проповедник снова напомнил мне об этом. «Однако, – воскликнул я в душе, – инстинкт жизни во мне силен! Я хочу жить – и, если повезет, выживу. Не думаю, что пришло время мне умереть». И снова мне ответил Екклесиаст, нейтрально и бесстрастно: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время...»⁵ Эту странную полную эмоциональную ясность, не холодную и не теплую, не суровую и не снисходительную, но полностью, восхитительно и ужасно правдивую я встречал у других, в особенности у пациентов, ожидавших смерти и не скрывавших от себя правды. Меня поражал, хотя и без полного понимания, простой конец Хаджи-Мурата – когда тот был смертельно ранен, образы без чувств проносились у него в уме; теперь же впервые я испытывал это сам.

Эти образы, слова и «бесстрастные чувства» не промелькнули передо мной, как говорится, в один миг. На это потребовалось время – по крайней мере несколько минут, – то время, которое они заняли бы в реальности, а не во сне; это была неторопливая медитация. Однако они ни в малейшей мере не отвлекли меня от моих занятий. Никто не поймал бы меня на промедлении, на паузе. Напротив, наблюдатель поразился бы моей оперативности и деловитости, тому, как быстро и умело я наложил шину, проверил все, что у меня есть, и двинулся вниз.

Я использовал способ передвижения, никогда ранее мной не применявшийся, – грубо говоря, двигался глутеально⁶ с помощью трех конечностей. Другими словами, я съезжал на заднице, отталкиваясь руками и используя здоровую ногу как руль или, в случае необходимости, как тормоз; пострадавшая нога с наложенной шиной бессильно болталась впереди. Я не придумывал этого необычного и, можно сказать, неестественного способа передвижения – его мне подсказал инстинкт выживания, и я скоро к нему привык. Любой, кто увидел бы, как ловко и сильно я отталкиваюсь руками, скользя вниз по склону, сказал бы: «Ах, да он в этом собаку съел. Такое передвижение – его вторая натура».

Так вот, безногих не нужно учить пользоваться костылями: такое умение приходит без размышлений, естественно, словно человек втайне практиковался в этом всю жизнь. Организм и его нервная система обладают огромным репертуаром «движений-трюков», уловок разного рода – совершенно автоматических стратегий, хранящихся про запас. Мы и не догадывались бы о потенциально существующих ресурсах, если бы не обнаруживали их проявлений в случае необходимости.

Так случилось и со мной. Это оказался достаточно эффективный способ передвижения – там, где тропа не делала резких поворотов, была ровной и не слишком крутой. Если же встречались неровности, левая нога цеплялась за любые шероховатости – она совершенно не проявляла умения их обходить, – и я то и дело проклинал ее «глупость» и «бессмысленность». Действительно, как только путь становился трудным, приходилось присматривать за этой не только бессильной, но и глупой конечностью. Больше всего меня пугали те участки тропы, которые оказывались слишком скользкими или слишком крутыми, потому что было трудно избежать почти не поддающегося контролю скольжения, заканчивавшегося столкновением или ударом, мучительно отдававшимся в колене и показывавшим несовершенство моей импровизированной шины.

Через некоторое время, после особенно болезненного столкновения, мне пришлось в голову позвать на помощь; я заорал во все горло, и мои вопли отдались, казалось, от всех гор в округе. Этот неожиданный звук в тишине испугал меня самого, и тут я неожиданно всполошился: не привлечет ли он быка, о котором я совершенно забыл? Мне представился устрашающий образ животного, снова пришедшего в ярость и мчащегося ко мне, чтобы поднять на рога или затоптать. Дрожа от ужаса, я сумел отползти с тропы и спрятаться за утесом. Там я оста-

⁵ Библия, Еккл. 3:1-2.

⁶ Глутеальный (от *gr. glutos* – ягодица) – ягодичный, относящийся к ягодичной области. – *Примеч. ред.*

вался минут десять, пока ничем не потревоженная тишина не обнадежила меня; я выполз из своего убежища и продолжил спуск. Я не мог решить: были ли мои крики глупой провокацией или я совершаю глупость, боясь звать на помощь? Во всяком случае, я не стал больше кричать и придерживал язык, когда хотелось выругаться, помня, что я все еще нахожусь во владениях быка, возможно, очень бдительного; более того, я сказал себе: «Зачем кричать? Побереги силы. Ты – единственное человеческое существо на многие квадратные мили вокруг». Так я и спускался в полном молчании, не осмеливаясь даже засвистеть: теперь всюду мне мерещился прислушивающийся бык. Я даже попытался тише дышать. Так и проходили часы в безмолвном скольжении.

Примерно в половине второго, после двух часов спуска, я добрался до бурного ручья с переправой из отдельных камней, пугавшей меня еще по пути наверх, когда у меня были здоровы обе ноги. Было ясно, что тут двигаться, отталкиваясь, мне не удастся. Поэтому пришлось перевернуться и «идти» на выпрямленных руках; даже и в этом случае голова у меня еле возвышалась над водой. Течение было быстрым и бурным, вода ледяной. Моя левая нога, бессильно повисшая, не имеющая опоры, неуправляемая, с силой билась о камни на дне и иногда откидывалась в сторону так, что образовывала прямой угол с телом. Тазобедренный сустав казался почти таким же болтающимся, как и колено, но по крайней мере он не причинял боли – в отличие от колена, выгибавшегося и вывихивавшегося. Несколько раз я чувствовал, что теряю сознание; случись это, я мог бы утонуть. Ругательствами и угрозами я заставлял себя держаться.

– Держись, идиот! Цепляйся за жизнь! Я тебя убью, если ты поддашься, так и знай!

Когда я наконец перебрался на другую сторону, я рухнул на камни, дрожа от холода, боли и шока. Я чувствовал себя обессиленным, поверженным, оглушенным и минуты две лежал неподвижно. Потом изнеможение превратилось в усталость, какую-то необыкновенно приятную расслабленность.

«Как здесь хорошо, – подумал я. – Почему бы не отдохнуть немного, может быть, даже вздремнуть?»

Соблазнительный и усыпляющий внутренний голос словно уговаривал меня, но усилием воли я заставил его замолчать. Здесь не было «хорошо», чтобы отдохнуть и вздремнуть. Такое намерение было смертельно опасным и наполнило меня ужасом.

«Нет! – яростно заявил я себе. – Это говорит Смерть – своим нежным убийственным голосом сирены. Не слушай ее! Никогда не слушай! Ты должен продолжать путь, нравится это тебе или нет. Ты не можешь здесь отдохнуть – отдыхать вообще нельзя! Ты должен найти ритм, которому можешь следовать, и упорно его выдерживать».

Этот хороший голос, голос жизни, взбодрил меня и придал сил. Я перестал дрожать и избавился от нерешительности. Я снова целеустремленно двинулся в путь и больше не колебался.

Тут мне на помощь пришли мелодия, ритм и музыка (то, что Кант называл «ускоряющим» искусством). До того как я перебрался через ручей, я двигался только с помощью физической силы своих сильных рук. Теперь я, так сказать, двигался с помощью музыки. Я этого не изобретал, все получилось само собой. Я подчинялся ритму, меня вел марш или песня гребцов – иногда песня волжских бурлаков, иногда мой собственный монотонный напев на слова «Ohne Haste, ohne Rastf! Ohne Haste, ohne Rastf!» («Без спешки, без отдыха») с сильным ударением на каждом Haste и Rastf. Никогда еще в моей жизни слова Гёте не находили лучшего применения! Теперь

мне не нужно было думать о том, двигаюсь ли я слишком быстро или слишком медленно. Я погрузился в музыку, погрузился в ритм, и это обеспечивало мне правильный темп. Я обнаружил, что ритм обеспечивает совершенную координацию – или, может быть, лучшим словом было бы «подчинение»: музыкальный размер возникал во мне, и все мышцы послушно откли-

кались на него – все, кроме мускулов левой ноги, которые оставались «глухими». Не говорил ли Ницше, что мы «слушаем своими мышцами»? Я вспомнил о днях занятий греблей в колледже – наша восьмерка подчинялась ритму, который задавал рулевой; это было что-то вроде мышечного оркестра с рулевым-дирижером.

Каким-то образом с этой «музыкой» мое продвижение перестало казаться мрачной, полной тревоги борьбой. Возникло даже определенное примитивное возбуждение, подобное тому, которое Павлов называл «мускульной радостью». И к тому же, чтобы порадовать меня еще больше, из-за облаков выглянуло солнце, погладило меня теплыми лучами и скоро высушило мою одежду. Все это весьма положительно на меня повлияло, и только после того, как я довольно долго громким басом распевал свои марши, я неожиданно обнаружил, что о быке совсем забыл. Точнее, я забыл свой страх – отчасти поняв, что он больше неуместен, отчасти сообразив, что он с самого начала был абсурдным. Теперь во мне не было места этому страху, да и какому-либо страху вообще, потому что я был до краев полон музыкой. И даже когда эта музыка (слышимая музыка) не звучала буквально, оставалась музыка моего мышечного оркестра – «безмолвная музыка тела», по замечательному выражению Харви. Под ее звуки, с ритмичностью моего движения я сам стал музыкой: «Ты музыка до тех пор, пока музыка звучит». Я стал созданием из мышц, движения и музыки, существующих неразрывно и звучащих в унисон, – за исключением той ненастроенной части меня, того несчастного сломанного инструмента, который не мог влиться в оркестр и оставался неподвижным, без ритма и мелодии.

Когда-то в детстве у меня была скрипка, которая случайно разбилась на куски. В отношении своей ноги я теперь испытывал те же чувства, что и давным-давно в отношении той бедной сломанной скрипки. С ощущением счастья, решительностью и бодрящей музыкой смешивалась острая и мучительная горечь потери того музыкального инструмента, каким раньше была моя нога. «Скоро ли она поправится? – думал я. – Когда начнет она исполнять собственную мелодию? Когда присоединится к радостной музыке всего тела? О, когда?»

К двум часам облака разошлись настолько, что я смог наслаждаться великолепным видом на фьорд подо мной и на маленькую деревушку, откуда я вышел девять часов назад. Мне была видна старинная церковь, в которой накануне вечером я слушал моцартовскую мессу до-мажор. Я почти мог разглядеть – нет, и на самом деле мог – крошечные фигурки на улице. Был ли воздух невероятно, сверхъестественно чист? Или это мое восприятие обрело ненормальную остроту? Я подумал о том сновидении, которое пересказывал Лейбниц: он оказался на огромной высоте, глядя на распростершийся под ним мир с его странами, городами, озерами, полями, деревнями, хуторами. Если он хотел рассмотреть какого-то человека – крестьянина, пахущего землю, старуху, стирающую белье, – ему нужно было только направить на него взгляд и сосредоточиться: «Не нужно было никакого телескопа, кроме внимания». Также было и со мной: мое зрение обострило отчаянное желание, сильнейшая потребность видеть других людей и еще в большей мере быть увиденным ими. Никогда еще не казались люди мне столь дорогими – и столь далекими. Я чувствовал себя таким близким к ним, глядя как сквозь мощный телескоп, и в то же время таким полностью отрезанным от их мира. Если бы только у меня был флаг или сигнальный фонарь, ружье, почтовый голубь, радиопередатчик! Если бы я мог издать действительно гаргантюанский вопль – такой, который был бы слышен на расстоянии десяти миль! Как иначе могли они узнать о том, что есть их товарищ, пострадавший человек, борющийся за свою жизнь на высоте пяти тысяч футов? Я был в поле зрения своих возможных спасителей, и все же, возможно, мне предстояло умереть. В моих чувствах было что-то безличное, вселенское. Я стал бы кричать не «Спасите меня, Оливера Сакса!», а «Спасите страдающее живое существо, спасите жизнь!». Этот призыв я так часто читал в глазах своих пациентов, эта мольба погибающего на краю пропасти, – могучее, яркое, законное желание остаться в живых.

Прошел час, и еще, и еще – под великолепным безоблачным небом, под солнцем, проливающим бледно-золотой чистый арктический свет. День был прекрасным, земля и воздух в своей красоте, блеске и спокойствии словно погрузились в безмятежность. Часы текли, я упорно продолжал свой путь вниз, а мой разум освободился от тяжких мыслей. Меня посещали давно забытые воспоминания, неизменно светлые, – о летних днях, согретых солнечным светом, который одновременно был счастьем и благословением, о тех летних днях, проведенных с семьей и друзьями, чередой которых уходила в самое раннее детство. Сотни воспоминаний проносились у меня в уме за время, которое уходило на преодоление пространства между одним утесом и следующим, но эти воспоминания не были чередой мелькающих лиц и голосов. Каждая сцена полностью переживалась заново, все разговоры вспоминались без каких-либо сокращений. Самые ранние воспоминания касались нашего сада – нашего большого старого лондонского сада, каким он был до войны. Я заплакал от радости, когда его увидел – наш сад с его дорогим мне старым железным забором, просторной ровной лужайкой, только что скошенной (огромная древняя косилка всегда стояла в углу), полосатым гамаком с подушками, каждая из которых была больше меня, – в нем я обожал качаться часами, – и радостью моего сердца – крупными подсолнухами с круглыми соцветиями, совершенно меня завораживавшими и показавшими мне, пятилетнему, Пифагорову тайну мироздания. (Ведь именно тогда, летом 1939 года, я открыл для себя, что соцветия состоят из множества простых цветков, и осознал порядок и красоту мира, что стало прототипом каждого научного открытия и радости, которые мне предстояло испытать в дальнейшем.) Все эти мысли и образы, возникавшие помимо моей воли и пронесившиеся у меня в мозгу, были исполнены счастья и благодарности. И только позднее я спросил себя: «Что это за настроение?» – и понял, что оно было подготовкой к смерти. «Пусть твои последние мысли будут благодарностью», – как сказал Оден.

Около шести я совершенно неожиданно заметил, что тени удлинились, а солнце больше не стоит высоко на небе. Какая-то часть меня, подобно Джошуа, стремилась удержать солнце в зените, чтобы продлился золотой и синий день. Теперь я вдруг понял, что наступил вечер и что через час или около того солнце сядет.

Вскоре после этого я добрался до длинного поперечного уступа, откуда открывался вид на деревню и фьорд. До этого уступа, поднимаясь вверх, я добрался около десяти часов утра: он был примерно на полпути между воротами и тем местом, где я упал. Таким образом, на расстояние, которое я преодолел чуть больше чем за час при подъеме, при спуске у меня с моим увечьем ушло почти семь часов. Я увидел, как чудовищно, как оптимистично я ошибся в расчетах, сравнивая свое сползание с ходьбой: теперь я видел, что вниз спускался в шесть раз медленнее. Как мог я вообразить, что спуск займет вдвое больше времени, чем подъем, и что я окажусь в окрестностях самой высоко расположенной фермы к наступлению сумерек? В долгие часы моего путешествия я согревался – попеременно с возбужденными и не такими уж уютными мыслями – утешительным представлением об ожидающем меня крестьянском доме, мягко освещенном изнутри, о заботливой крестьянке с ямочками на щеках, которая меня накормит и оживит любовью и теплым молоком, а ее муж, мрачный гигант, отправится в деревню за помощью. Меня на протяжении всех бесконечных часов спуска втайне поддерживало это видение, а теперь оно погасло – погасло неожиданно, как свеча; на этом горизонтальном уступе его сменила леденящая душу реальность.

Теперь я мог видеть то, что было скрыто от меня туманом при подъеме, – видеть, как далека, как недостижимо далека от меня была деревня. И все же, хотя надежда во мне умерла, меня утешала возможность смотреть на деревушку и особенно на церковь, окрашенную в розовый цвет длинными лучами заходящего солнца. Я мог разглядеть прихожан, собирающихся на вечернюю службу, и меня полностью захватило воспоминание о том, как я сидел в церкви всего лишь накануне и слушал мессу. Воспоминание было таким ярким, что я услышал ее – услышал с такой отчетливостью, что на мгновение решил, что месса исполняется и сегодня

и звуки каким-то чудом плывут ко мне благодаря особенностям горного воздуха. Я был глубоко тронут, по щекам у меня потекли слезы; и тут я внезапно понял, что слышу не мессу, а реквием. Мое подсознание заменило одно другим. Или, опять же в силу сверхъестественной акустической иллюзии, я слышал исполняемый в церкви реквием – реквием по мне?

Вскоре после семи солнце скрылось; казалось, с собой оно забрало все цвета и все тепло мира. Не было никакой неторопливой лучезарности заката – здесь все происходило проще, суровее, что больше похоже на Арктику. Воздух внезапно посерел и стал холоднее. Эта серость и холод пронизали меня до мозга костей. Тишина сделалась абсолютной. Я больше не слышал вокруг себя никаких звуков. Я больше не слышал себя. Все утонуло в безмолвии. Были моменты, когда я считал себя умершим, и всеобъемлющая тишина становилась тишиной смерти. Так наступает начало конца.

Неожиданно, не веря собственным ушам, я услышал крик, длинный йодль, раздавшийся где-то совсем близко. Я повернулся и увидел стоящих на скале мужчину и мальчика, смутные силуэты в сгущающихся сумерках – менее чем в десяти ярдах от тропы, чуть выше меня. Я не замечал своих спасителей, пока они не обнаружили меня. Думаю, что в последние темные минуты, когда мои глаза были устремлены на едва видную тропу передо мной или слепо глядели в пространство, я перестал быть настороже, постоянно оглядываясь, как это было на протяжении дня. Вероятно, я полностью перестал осознавать окружающее, отказавшись от всех мыслей о спасении жизни, так что спасение, когда оно пришло, явилось словно ниоткуда – чудо, благодать в самый последний момент. Еще несколько минут – и стало бы слишком темно, чтобы меня увидеть. Мужчина, издавший йодль, стоял, опустив ружье; паренек рядом с ним тоже был вооружен. Они спустились ко мне, и мне не понадобилось объяснять им, в каком я положении. Я обнимал их обоих, целовал их – этих носителей жизни. Заикаясь, на ломаном норвежском я рассказал, что случилось со мной на вершине, а чего не мог выразить словами, попытался нарисовать на земле.

Мои спасители рассмеялись, глядя на изображение быка. Я рассмеялся вместе с ними; неожиданно этот смех разрядил трагическое напряжение. Я почувствовал себя замечательно и, так сказать, комически живым. Мне казалось, что в горах я испытал абсолютно все эмоции, но только теперь до меня дошло, что я ни разу не смеялся. Теперь же я не мог остановиться – это был смех облегчения, смех любви – тот смех, который исходит из самых глубин человеческого существа. Тишина была нарушена, та полная безжизненная тишина, которая словно околдовала меня в последние минуты моего одиночества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.